

Гар. Оганесян

Роман Нар-Доса „Борьба“

Тревожными, беспокойными, порой мятежными становились раздумья Нар-Доса о судьбах человека. Сторонней, какой-то чужой и далекой проходила жизнь мимо исканий, переживаний, волнений его современника. Люди начали обретать какие-то новые обличья — одни уродуясь, другие преображаясь, третьи смиренно подлаживаясь, но бесконечно и без усталости порываясь найти новые личины и маски в стремлении не оказаться сваленными вихрем жизни. Все стало смешным и жалким, отвратительным и страшным в порыве уцелеть в пляске и игре времени. С поразительной легковесностью все начало забываться и с бесстыдной ложью освящаться все то, что может сохранить мелкое благополучие. Боль оставалась незримой, тоска непонятой, дерзание поруганным.

Одиночество — тяжелое, гнетущее одиночество сильного, цельного, духовно богатого человека преисполняло Нар-Доса большим чувством печали, простой, глубоко человеческой любовью и озабоченностью о нем. Равнодушие, холодное безразличие к чему-то человечески неповторимому, своему, личному стало дыханием жизни. Трагической ноткой рождается в творчестве Нар-Доса мотив непонятости, отчужденности человека, который с особенной художественной силой раскрывается в романе «Борьба».

Нар-Дос особенно глубоко чувствовал пору больших перемещений. Что-то гнулось и выдыхалось, что-то грубо и неуклюже подымалось, одно истощалось, другое как-то пышно разбухало. Царило кипение, вихревое смешение всего некогда устоявшегося. Все начинало переставать быть самим собой и несло на себе лишь одну печать — стремление определить-ся, приобрести видимые очертания. Нравы, понятия, представления людей выкидывались на эту мгlistую арену на испытание, на новые оценки. В общем шуме и галдеже это испытание производилось не с особенной мягкостью; человеческий мир без всякого удержу подвергался неумалимым ударам и тряске в куда-то мчущемся обозе жизни. Грохот булыжников, беспокойная качка, разочарования, утрата надежд изматывали человека.

Жизнь же шла своим чередом. По-прежнему многое выглядело старым, что-то представлялось, а быть может, становилось новым. Но никого не беспокоило во что превращается это шествие жизни. Тут нельзя было различить красивое и гадкое, топорное и изящное, разумное и глупое, подлинное и фальшивое. Все было приравнено, смешано, спутано. Стирались, уничтожались любые критерии. Окружающее заволакивалось завесой зыбких понятий, убеждений. Допускалось, признавалось, оправдывалось

и фарисейское почитание каких-то святостей, и глумление над ними, осуждение чего-то и его возвеличивание, и притворство, и отречение от самого дорогого, и соперничество во лжи.

Жизнь изгоняла, вытравливала идеалы. Торжествующая серость иссушала представления о красоте, о человеческом. Ожились, разыгрались, энергично наступали самые низменные инстинкты. Беспрепятственно заглушались некогда родные звуки, порывались сокровенные и тонкие связи, деревенели простые человеческие чувства. Началось поклонение сухости и бездушию, необтесанной тупости и грубой силе, внутренней опустошенности и циничной изворотливости. Иногда предаваясь самообману, иногда утаив собственное мнение, а порою испытывая родство между топорными, антигуманными нормами и своими влечениями, люди старались извлечь для себя побольше благ.

Понятия о человеческом и красивом, о гуманном и прекрасном выбрасывались, опрокидывались лавиной самых будничных, самых серых, пошлых принципов. Спадали ореол неприступных, сильных, непокоренных образов, превозносились послушание и безответность, одергивался покров с возвышенных натур, оставались лишённые всякой поэтичности нагие тела, поносились мысль, разумность; в каком-то одичании истреблялось все прекрасное, со страшным треском рубились леса, осквернялись и извращались традиции, прививался вкус к подлости, к бессердечию. Мелкая суэта, возня, копание в ничтожном делали людей безликими, бесцветными. В общей суматошной борьбе за обретение какого-либо укромного места в жизни терялись идеалы, обходились принципы.

Завязывалась исполненная глубоким драматизмом острая борьба между никогда не меркнувшими в сознании людей благородными идеалами, тоской по красоте и приобретающей все более угрожающие размеры тенденцией разрушения, обесценения поэтичного и прекрасного, низведения до ступени пошлости человеческого, гуманного. **Борьба, борьба** за сохранение человечности, сохранение настоящих, полноценных чувств, мыслей, эмоций—эта тема всегда жила в творчестве Нар-Доса; она то звучала беспокойно, то стихала, то заволакивалась унынием, то просветлялась и искрилась, но никогда не терялась. Судьба этой борьбы беспокоила замечательного писателя-гуманиста и в «Борьбе».

Нар-Дос берется за художественное отображение одного из наиболее острых конфликтов столкновений времени. Он так и озаглавливает свой роман — «Борьба». В процессе работы над романом, обтачивая и с особой тонкостью усиливая художественное звучание романа, писатель все более расширяет тему отторжения жизнью ярких, полнокровных человеческих индивидуальностей. Как печальный, скорбный звук вечернего благовеста плавно льется в творчестве Нар-Доса мотив тоски по озаренной замечательной красотой внутренней силе человека.

Эта проблематика, которая является ведущей в творчестве Нар-Доса, в развитии литературы и культуры конца XIX столетия, приобретает особо сильное звучание. В литературе, возвышающейся на стыке двух веков, проступает необычайно обостренное, временами несколько конвульсив-

ное, нервное, беспокойное внимание к надлому и мельчанию человеческого характера, к утрачиваемому жизнью идеалу красоты и поэтичного. С некоторыми спадами и срывами, но какими-то мятежными и мучительными были искания Генриха Ибсена цельных натур, не потерявшихся, не затаянных в тину мизерных радостей, огорчений, забот, интересов. Его герои, одержимые какой-то безумной страстью утверждения своей личности, не были, как это порой грубо истолковывается в нашем литературоведении, топтателями среды, окружающего. Они восставали за разумность в атмосфере усыпления человеческой мысли, они не разражались страшным хохотом над смешением человеческих лиц, а содрогались, цепенели перед возможностью растворения ярких индивидуальностей, характеров в какой-то послушной, инертной, бездушной и вялой массе.

А ведь в ту переломную эпоху, когда старое с шумом трескалось и ломалось, а идеалы нового еще были в муках рождения, когда повсюду, как писал Блок, оглушительно гремели железные полюсы, как никогда была попрана, низведена и унижена человеческая личность. С какой нежной, захватывающей грустью А. П. Чехов смотрел на свою Русь, объятую дикой страстью похищения у человека всего сокровенного, прекрасного, близкого.

В армянской литературе конца XIX и начала XX вв. вполне определенно намечалась эта тема, характерная для общего развития культуры того времени. Настроения неумной боли за принижение человека очень созвучны поэтическому миру Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Терьяна.

*«Եւ անարգութեամբ աշխարհքը համայն,
Ուր ամեն ուր մարդ — մի ձև անցալոր,
Ուր ամեն մի կյանք՝ թշվառ և ունայն,
Դադարաւոր՝ անգոր, և նյութի հզոր»—*

пишет А. Исаакян. В единоборстве двух начал — обезличивающей стихии времени и никогда не смиримым духом утверждения полноты, богатства человеческой жизни — замечательные мастера культуры никогда не утрачивали веру в неисчерпаемую духовную потенцию людей. С точки зрения постижения замечательных, светлых, цельных натур Нар-Доса, пожалуй, одно из исключительных явлений армянской литературы XIX в.

В романе Нар-Доса «Борьба» поражает смелость перенесения повседневных связей, перипетий, каких-то узлов и тайн в отношениях людей в сферу больших этических, моральных проблем.

В ничем не примечательный день служили обедню. По привычному зову стекались обычной, не поспешной походкой вседневные посетители церковного двора.

Первые обогревающие лучи весеннего солнца наводили умиротворение на предцерковную площадь; бесшумно двигались, толпились то тут, то там. Где-то насадка ворошила корм, откуда-то доносилось жалобное блеяние барашка. Царила безмятежная, спокойная атмосфера.

«Կամաց-կամաց հավաքվում էին ժամավորները — մեծ մասամբ կանայք և մեծ մասամբ պառավներ: Նրանք մտնում էին բակը հանդիստ քայլերով, երեսները խաշակնքում էին անկանոն, համբուրում էին եկեղեցու դուռը և, որովհետև ոեւ վաղ էր, ցրվում էին արևի ախորժեխի ջերմ ճառագայթներով ողողված բակում»:

Все обыденно, все обжито. Так изо дня в день, все тою же неторопливой походкой устремляются на эту площадь люди, дорожащие какой-то верой. Идут они, идут отягощенные недосказанной горечью, никому не поведанной печалью. Но вот настораживает казалось бы случайно брошенная писателем реплика: *«Նրանք մտնում էին բակը հանդիստ քայլերով, երեսները խաշակնքում էին անկանոն...»*: И эта вера, единственное упование их души, превратилась в привычку, уже не захватывает священным трепетом, не осеняет каким-то чистым, нетронутым чувством, не вызывает никакого смятения, не пробуждает самозабвенного почтения.

Все упростилось, стало обыкновением, и обряды стали исполняться машинально, без волнения, без тревог, без содрогания. Как замечательно писателем найдена деталь к характеристике полной утраты обстановкой своего наземного, возвышенного ореола: *«Այստեղ քշուչ էր անում ժամկոչի թխական հավը ձվից նոր ելած իր բավմաթիվ ճուտերով, իսկ քաղազը, փափաղանց ծանրաշարժ ու բրդոտ ուններով, կանգնած էր աղբանոցի ծայրին հպարտ ու հանդուգն և իր առողջ թորերի ամբողջ ուժով ծուղուրուղու էր կանչում, արձագանք տալով հայտնի չէ որտեղից, բայց շատ հեռվից լսվող մի ուրիշ ծուղուրուղուի, որին նա ուշի-ուշով ականջ էր դնում իր ամեն մի կանչից անաչ»:*

Описание священнослужения вбирается в общую картину с копошением наседки в мусоре!

Спали, сошли со своих высот былые, казалось бы нерушимые нормы. Все измельчало. И вера перестала поражать, волновать, напрягать людей — она обратилась в привычку. Уходили в прошлое некогда самые магически действующие чувства. Прежние идолы, что ни день, приносили разочарования, рушились иллюзии, и примиряли с самым чуждым, далеким, отвратным. Окружающее перевернулось в глазах Захара и старой Оромсим. Поступки и действия, подлежащие их страшно-му суду, приобрели силу власти над ними, исстари дедами освященные понятия разносятся в прах, неверие ни во что демонстрируется и почитается.

Поблекли, поникли, выцвели и их — Захара и старой Оромсим — когда-то неприкосновенные моральные догмы. И им, уже хулящим новое, не за что было удержаться, их ничто не берегло. Перед глазами Захара и Оромсим начала обесцвечиваться в прошлом никогда не пререкаемая система нравственных предписаний. Они оставались ни с чем. Образы предков, всеисилие их духа в поддержании верований и традиций старины посерели, стушевались.

И с какой потрясающей силой создается это настроение Пар-Досом! В церкви, в момент горестного излияния Захара о превратностях своей судьбы взор Мане, словно перенося мысли Захара и осмысливая их, па-

дает на надгробное изречение из евангелия, которое было уже растоптано, обрызгано, испоганено.

«Հնությունը, անձրեններն ու արեւը և ծարղկանց ոտներն իրենց անխուսափելի ավերածութիւնն էին տարածել այդ սրբազան նկարների և ավետարանական խոսքերի վրա, իսկ ըստ արձանագրութիւնն այն աստիճան ժաշկել էր, որ բոլորովին անընթեռնելի էր դարձել»:

Изгажены, обесценены все святости мира Захара и Оромсим.

Традиции ломались и отбрасывались, создавался культ нового. Новое же давило и глушило, карало и побеждало, превозносило и обожествлялось. Все стало соотносываться с шествием новой силы, окружающее было объято стремлением приноровиться к этому движению.

В этом всеобщем хаосе кто-то оказывался вытесненным, кто-то битым и поруганным, кто-то откуда ни возьмись выскакивал на арену, кто-то, учуяв веяние времени, ловко подделывался под поощряемое. Голоса морали и нравственности заглушались зычными криками и ревом истребителей лесов, погонщиков ломовых телег, провозвестников новой поры—поры крушения поэтичного и красивого, гуманного и человеческого.

Вот оци —цвет нового общества: Елена Соликян, Насибян, Бадамян. Всей своей фигурой, обликом и нутром Елена Соликян — олицетворение «нового». В ней соблюдены все нормы этикета последней моды поведения: она и подчеркнуто резка в своих суждениях, и с вдохновением может выпалить огромную тираду против заскорузлых патриархальных ограничений, и без жеманства оголить свои самые неприглядные влечения. Ничего не иметь в прошлом — таков ее девиз, рвать, сметать, отрицать все, все, связанное с прошлым, напоминающее бывшее.

В сознании Елены Соликян уже утрачиваются устойчивые, твердые понятия. Для нее все подвержено лавированию, игре, изменениям. Как реакция на сонные, каменные, неподвижные догматы старины, распускалась мораль крайней непринужденности, шаткости, неустойчивости. Елена Соликян не то, чтобы была какой-то ревностной защитницей духовного аморализма. Нет, она способна и возмутиться бессердечием Насибяна и выказать некоторое сострадание к обиженным судьбою. В старании уберечь себя от лишений она может кой-где и согрешить, кой-где и полицемерить. Восставая за независимость и прикрываясь свободомыслием, Елена Соликян в то же самое время молча обходит эти принципы, когда они ей мешают. Соликян просто-напросто расширяет возможные границы поведения человека: от показного участия к людям ко лжи и лицемерию, от фраз о свободе к философии трезвенников, умело поступающих своим голосом, чтобы не быть в чем-либо ущемленным. Эти люди, люди, подобные Тусянам, Насибянам, Ваанам, подчеркнуто много говорят о пустоте моральных критериев!

Лицемерие переплеталось с абсолютной свободой в подыгрывании совершенно разным понятиям, требованиям.

И если в поступках и действиях Елены Соликян заметны следы какой-то искренней приверженности ко всему тому, что именуется новым,

и если, вторя нормам этого нового, она все еще не осознает их уродливости, то Насибян прекрасно искушен в лживости принципов, им же самым проповедуемых. Но это ему нужно, потому что он из этой фальши извлекает себе имя, его печатают, ему отдают почести, перед ним расшаркиваются. Не беда, что он ради утоления своего тщеславия готов на всякую подлость, зато в обществе за ним утверждена миссия поучателя, истолкователя, назидателя: «մին տես է', մին տես է', ինչ հիշեցիր պիտի և հրեւ Նսիրբշար» — говорят о нем и из рук друг друга выхватывают его писания.

Не беда для Насибяна, если кто-либо презрительно плеснет в его лицо водой, если кто обожжет хлестким ударом его щеку, если ему придется оказаться в унижительном положении угодника и мишенью тупых остроумий вельмож, — лишь бы быть в толпе одергивающих, повелевающих, наставляющих. Эта рабская психология уже перестала стеснять людей, внутренне их терзать.

Насибян совершенно спокоен, невозмутим; он даже с нескрываемым самодовольством предписывает другим эти нормы. Образ Насибяна предвещает типы духовно опустошенных, лицемерных, не дорожащих ничем заступников каждого «нового» веяния, какие бы взаимоисключающие требования ни выдвигало это «новое». Для Насибяна нет никаких принципов; его принцип в поддержании тона последней моды представлений, оценок поведения людей и пр. Логика образа Насибяна позволяет утверждать, что он безболезненно стал бы примерным блюстителем отрицаемого им патриархального мира, если бы от этого зависело его место в жизни.

Но, конечно, столпом поборников так называемого свободомыслия, мнимых благодетелей в романе представлен Бадамян. В своем поведении он не схож ни с развязной Соликян, ни с несколько неврастеничным Насибяном, наоборот, он даже благообразен в манерах, спокоен, говорит всегда пониженным и весьма авторитетным тоном, уверенный в несомненной силе своих изречений. Он никогда не размахивается, не нарушает свое равновесие; слегка кивая головой, он живет сознанием, что поражает собеседника блеском своих мыслей.

Бадамян обрел более уточенную форму в умении представляться, казаться — умеренность. Завороженные ложью, лицемерием, радители новых, не отягощенных никакими нормами связей, отношений между людьми, Соликяны, Насибяны, Бадамяны, каждый по-своему, находили какую-то лазейку в обман. Соликян, выступая рачительницей «высокой» морали, втайне грешит против своих же проповедей, Насибян, на общественном поприще крича, шумя о всякой добродетели, боится себе право на любые низости, Бадамян же ложность своих сентенций прикрывает позой, умеренностью суждений. Мысли Бадамяна идеально скроены, он не скажет ни больше, ни меньше. Бадамян не может неожиданно открыться и обнажить свое нутро, он не может в пылу воодушевления чем-то рискнуть, что-то поставить под угрозу, отозваться на боль и страдание. Он весь в себе, отлично собран. Бадамян не в любую минуту пойдет на

низость. Всегда печась о своем выхоленном облике, Бадамян с поразительной точностью найдет мгновения, когда его намерение может воплотиться в действие. И этот человек, казалось бы само олицетворение благородства, в минуты смятения Мане угрожает ей: *«Ես կըլլեմ քեզից այդ անարհեստագործ, կթափալեմ ցեխի մէջ, եթէ կամուրջն չհրաժարիլէս նրանից...»* и чтобы убрать прочь супруга Мане — Сантросяна, Бадамян искусно приподымает завесу над его запятнанным прошлым.

Художественно чрезвычайно интересен прием оценки Нар-Досом образов Соликяна, Насибяна, Бадамяна. Заострением несоответствия между внешним благообразием, позой, фразой этих людей и их внутренне ложной, лицемерной природой писатель достигает большой силы обобщения. Эти образы явились предтечей сонма лицемеров, циников, задающих тон жизни, думающих одно, делающих другое, спокойно покоряющихся любым принципам, приобретших навык легко играть, манипулировать своими представлениями, убеждениями.

Огромное мастерство Нар-Доса в обрисовке образов Соликяна, Насибяна, Бадамяна кроется в том, что они раскрываются в многообразных интересных связях с окружающим. Благодаря богатству охвата явлений, игре красок, тональностей, живых переходов Нар-Досу удается давать объемлющие характеристики образов.

В романе «Борьба» все нити органически переплетаются, наслаиваются, крепнут, затягиваются в узлы и затем расходятся, неся с собой свои особые, неповторимые мотивы.

С самого же начала романа завязывается борьба между вековыми представлениями патриархальной старины, миром Захара, Оромсим и рыцарями напوماженного, намалеванного свободомыслия. Этот конфликт многими героями романа именуется борьбой между старым и новым. Да, такой конфликт, конечно, выдвигало время, и он запечатлен Нар-Досом. Развитие событий ведет как будто к широкому раскрытию этого столкновения, но вот постепенно в намеченный конфликт вливается новая тема; она вначале едва заметна, затем нарастает, треплет, обрывает все связи и противоречия и подымается до единственно главной темы: темы несдерживаемого протеста против обезличения человеческой индивидуальности, подмены полнокровного облика людей играющими масками, протеста, сплетающегося с тоской по красоте и поэтичному, с обеспокоенностью за крушение прекрасного. Эта тема в романе связана с Мане. Но для полноты характеристики этого образа и раскрытия основного замысла романа необходимо прежде всего остановиться на разборе образа Ваана.

Фигура Ваана стоит особняком по отношению ко всем персонажам романа — в Ваане уже извратились и наивные представления старины, он не предается обману и апостолов мнимого освобождения личности, в нем притуплена всякая чуткость и к переживаниям Мане.

Ваан не предается иллюзиям не потому, что он в поисках другой, настоящей истины. Нет, он не дорожит никакой истиной и не обманывается докучающими человеческую мысль фальшивыми, неискренними

проповедями. Но он чрезвычайно искусно схватил нерв времени. Отрастив себе брюхо и лоснясь от жира, Ваан катит свою жизнь вверх, благоустраиваясь, расплываясь, пресыщаясь. Его не вскормишь подделкой, ложью, но он и не пытается что-то играть, кем-то представляться. Ваан просто-напросто тонко усвоил логику преуспевания и с приобретенной к тому сноровкой действует сообразно этой логике без всяких тог, без излишнего кривляния, без ложного воодушевления кем-то или чем-то.

Он холоден ко всему тому, что его не касается, не задевает, но он вздыбится, если кто тронет его мизинец. Ваан не станет горячиться в споре с противником, сознавая, что это может нарушить его расположение духа; спокойно, не особенно утруждая себя, он будет подпекать и травить любого, осмеливающегося покуситься на его самодовольство. Он выступает за отгорожение от любых волнений, беспокойств, за полное эгоистическое самоуспокоение.

Это безучастное, не дорожащее никакими ценностями отношение ко всему приобретало силу власти. Заговори о чем-то лиричном, поэтичном, возвышенном, так Ваан не преминет срезать, что все это его трогает лишь при натягивании башмака на ногу, воскреси какие-то традиции, он разразится хохотом, решишь на красивое, человеческое, он сочтет это глупостью, безумством. Так въедалась холодная расчетливость, бессердечие, склонность к бездушному поруганию всего и вся. Ваан пропитался этой моралью и смотрел на окружающее глазами человека, глубоко искусственного в том, что подымалось, поощрялось.

Ваан достаточно умен, чтобы без усталости не менять маски, впопыхах подлаживаться то к той, то к другой маске, подобно Насибянам. Ваан схватил самую основу хода жизни, и потому он так задирист, нагловат, беспечен.

«Ես ոչ ազատամիտ եմ, ոչ խաղարամիտ, ոչ առաջադիմական եմ, ոչ հետադիմական, ոչ արմատական եմ, ոչ պահպանողական—իհարկե, ան իմաստով, ինչ իմաստով որ աչդ բառերը գործ են ածում մեր մայմունների աշխարհում: Տեղը դա՛ սրա գլխին կփամփաշեմ, տեղը դա նրա գլխին, որովհետև երկուսն էլ ինձ համար միևնույն հիմարներն են»:

И точно так же, как Ваан поносил «свободомыслящих», стародумцев, те в свою очередь хулили друг друга и, сообщая, типов, подобных Ваану; складывалась тяжелая, гнетущая обстановка всеобщего отчуждения, ожесточения людей. Ничем не урезывалась лишь лесть, ложь, неправда. Внутренняя весомость людей смещалась внешними признаками: осанкой, накрахмаленными манжетами, уменьем в пужный момент улыбнуться, петь в унисон с тузами общества. Исключительно талантлива художественная находка Нар-Доса, когда он представляет цвет общества — вершителей судеб: тут нет лиц, нет настроения, тут нет человеческих обликов. Вот они: *«աթոռակալել էին ֆինանսական աշխարհի հաստ ու բարակ տուղեր, մի գեներալ կլպած դանդով, մի բանի ուրիշ էպոլետներ՝ աստղերով և առանց աստղերի և դրական ու լրագրական աշխարհի ներկայացուցիչներ՝ երկար ժամանակ չխուլած մադերով և օսլայած շապիկի կեղտոտ օձիքներով»:*

Единообразие манер, обихода, мышления, всеобщая елейность перед саном и чинами, отвратительная терпимость ко всякому унижению обезличили людей; оставались лишь лоснящиеся головы, возносящиеся эполеты, запачканные манишки. И это демонстрировалось, представлялось за спасение человека от всяких пут, за новое, за непререкаемо разумное. Облачившись в ложь, это «новое», как ни тужилось, никаких идеалов создать не могло; оно лишь преуспевало в отрицании, низведении, умалении всего святого до подленького. Особенно были нетерпимы традиции, окропленные в прошлом. Всякими правдами и неправдами обострялись понятия несовместимости прошлого и настоящего, при этом, конечно, как полагалось, слагался гимн абсолютной произвольности принципов настоящего. Все, казалось, было охвачено этой борьбой. Другой человеческий мир не мыслился. «Բայց եթե չես ուզում այդ կովի զոհը դառնալ, պետք է միանգամից անցնես այդ երկու հակառակ և մեկը մյուսին ոչընտեսող տարբերից ամենազորավոր կողմը, որը նորն է, իհարկե» — говорит Соликян Мане.

Но жизнь, судьба, понятия Мане не умещались в этой схеме. Как идеально ни обводились линии, как ни стирались пятна в этой схеме, а все же она ломилась под воздействием больших, гуманистических требований. А этого заглушить никто не мог.

Усердствовали лицемеры, процветали трезвенники и циники, кто-то кого-то обзывал стародумцем, кого-то уличали в жонглировании мнениями, сгущали, накаляли, делали нетерпимой атмосферу, но никогда не угасали подлинно человеческая мысль, совесть, разум. Никакие миражи, никакие словесные ухищрения и рекламы не могли лишить людей способности видеть и понимать происходящее. Непримирующаяся природа сильных, цельных натур обрекала их на мученичество, на страдания, но именно в этой напряженной борьбе за сохранение человечески ценного заключено их обаяние и величие. К таким натурам принадлежала и Мане.

Это тот поэтический образ армянской женщины, которая свято бережет дорогие предания, дыхание отцов, дедов, лелеет и несет в себе омраченные песни ороvelов и пандухтов, в упоении от красот родных сосен и вечерних тайн забывается пред отчим кровом, которая самоотверженно и безмолвно может вершить хорошее, благородное. Мане не обольщается былыми, выцветшими патриархальными нравоучениями, но она готова страстно обрушиться против бездумного и холопского обыкновения низвергать все традиции и святости, растворить их в пошлости и серости. Изгонялись творческий гений и мудрость народа, возвышавший дух храмов, древних памятников, песен, дорогих очагов, превозносились грубые потребности, пропитанные философией практицизма. С этим не могла примириться Мане: «Ս, որեմն քանդենք այս տները, մարենք մեր օջախները, դահրնկեց անենք հանճարներին, կործանենք նրանց ստեղծած տաճարները, հալածենք, ոչնչացնենք ամեն բան, ինչ որ բարձր է անասնակա-նությունից, ինչ որ վեհ է և սուրբ»:

Все упрощалось, приземлялось, в психологии людей выдыхалось поэтичное, красивое, утрачивалось чувство прекрасного. С внутренним горением Мане разрывает плену лицемерия проповедей Соликян, замыкающих человеческую мысль низменными, эгоистическими расчетами. Одни свое духовное обнищание прикрывали всяким тряпьем, выпранными фразами о каком-то освобождении и эмансипации, другие, чуждаясь масок, особенно не тревожились и не озадачивали себя этим. Жизнь их не будоражила. Должны ли были жить светлые традиции народа, должна ли была человеческая мысль хранить высокие, прекрасные идеалы или под влиянием времени все должно обкатываться в грязи.

В мучительной борьбе за сохранение красоты внутреннего мира, незагрязненных идеалов, чистоты совести приходилось порой ступать по шипам, принимать удары судьбы, страдать, обескровливаться, но в этой твердости Нар-Дос видел неоценимый моральный подвиг.

Уже в образе Сары Нар-Дос опростизировал личность, восставшую за свою индивидуальность. В романе «Борьба» обогащается и углубляется тема мятежных исканий подлинных путей человеческих судеб.

В переживаниях, стенаниях Мане, как лучи предзакатного солнца, угасают теплящиеся, бодрящие настроения. Безрадостны, мучительны, трагичны ее раздумья. Так в романе символически рождается образ уходящих лучей. Все меркнет, тускнеет, застуживается:

«Հորիզոնի բազմերանգ դույները քանի հեռանում էին արևմուտքից, այնքան ալելի խոնանում և աննկատելի կերպով միանում էին երկնքի լեզակադույն կապուտակի հետ». Чем отдаленней становились многоцветные краски горизонта, тем они более блекли, серели!! Образ синих, тучевых, бесцветных далей срастается в сознании Мане с мягкой, нежной, встревоженной любовью к человеку.

Эти сложные переливы настроений Мане не улавливались ни Соликян, ни Вааном, ни Бадамяном, как не понимали и Сару ее окружающие. Все пыталось повернуть Мане в русло обычных, опошленных отношений, но она не поддавалась этому давлению. Ее не могли сковать ни скучные наущения Захара и Оромсим, ни заверения Соликян и Бадамяна об избранности их «нового» пути: *«Մինչդեռ ևս կասեմ, որ այն, ինչ որ դու ևս քարոզում, սոփեստություն է. ստույգուն է, կեղծիք է, դիմակ է միայն»* — говорила Мане Елена Соликян. Мане не могла примириться с цинизмом Ваана. Она оставалась одинокой в своей тоске.

И вновь проносились скорбные звуки нар-досовской песни, пронзающие сумрачную, полумрачную пору каким-то чудодейственным, дивным светом веры в человека. И трагичны были звуки этой песни, и обогрены радостью, радостью за непреклонность, мятежность человеческого духа. И как символ вечного смятения этих сложных человеческих настроений в однообразном, стороннем такте жизни звучит последняя фраза романа: *«Իսկ ծղրիդն այնտեղ շարունակում էր իր անվերջ միասպազան հորնչը՝ միանգամայն անաարբեր դեպի մարդկային կյանքը, որ, անդոր ու անօգ, կարծես հավիտենական մի անեծքով, փոթորկում էր ցավատանջ պարտումներով և դործանլում կրքերի ողբերգական պայթյարի մեջ»*...